





ВСТУПЛЕНИЕ

Готовя эту книгу к новому изданию, я вспомнил, что именно в главах романа «Вдали от обезумевшей толпы», в то время как он выходил ежемесячно в одном из популярных журналов, я впервые рискнул упомянуть слово «Уэссекс», заимствовав его со страниц древней истории Англии, и придать ему фиктивное значение якобы существующего ныне названия местности, входившей некогда в древнее англосаксонское королевство. Задуманная мною серия романов в большей степени связана местом действия, и для того, чтобы сохранить это впечатление единства, требовалось дать какое-то определенное представление о территории. Поскольку я видел, что площади какого-нибудь одного графства недостаточно для задуманного мною широкого полотна, и мне по некоторым соображениям не хотелось давать вымышленных имен, я откопал это старинное название. Местность, охватываемая им, известна довольно смутно, и даже весьма образованные люди нередко спрашивали меня — где это, собственно,

находится? Однако и читающая публика, и печать отнеслись вполне благожелательно к моему причудливому плану и охотно признали допущенный мною анахронизм, позволявший вообразить себе обитаемый Уэссекс, существующий при королеве Виктории; Уэссекс сегодняшнего дня, с железными дорогами, почтой, сельскохозяйственными машинами, общественными домами призрения, серными спичками, землепашцами, умеющими читать и писать, и казенными детскими школами. Но я полагаю, что не ошибусь, если скажу, что до того, как этот современный Уэссекс на месте теперешних графств появился в моей повести в 1874 году, его никогда не было и в помине ни в литературе, ни в разговорах. И, встретив такое выражение, как «уэссекский пахарь» или «уэссекский обычай», всякий подумал бы, что речь идет о давних временах — эпохе не позже норманнских завоеваний.

Мне не приходило в голову, что применение этого слова в изложении современных событий выйдет за пределы моей хроники. Но оно было очень скоро подхвачено, первым применил его ныне уже не существующий журнал «Экзаминаер», который в своем выпуске от 15 июля 1876 года озаглавил одну из своих статей «Уэссекский пахарь», причем статья была посвящена не сельскому хозяйству англосаксов, а современному положению крестьян в юго-западных графствах.

С тех пор это название, которое я приурочивал к векам и ландшафтам наполовину существующего, наполовину выдуманного края, все больше и больше входило в обиход как подлинное обозначение некоторых наших провинций. И постепенно мой вымышленный край обрел черты вполне реальной местности, куда люди могут поехать, снять себе дом, писать оттуда в газеты. Но я прошу моих добрых и

склонных к фантазиям читателей не тешить себя этой мыслью и не верить, что жители викторианского Уэссекса существуют где-либо помимо этих книг, которые подробно рассказывают об их жизни, разговорах и нравах.

Более того: тому, кто попытался бы разыскать в какой-то существующей ныне местности селение по имени Уэзербери, где происходит большая часть действий, описанных в моей хронике, вряд ли удалось бы это сделать собственными силами, хотя еще сравнительно недавно, когда писалась эта повесть, можно было без труда найти близко соответствующие описанию приметы местности и черты действующих лиц. По редкой счастливой случайности еще сохранилась нетронутой описанная мною церковь и несколько старых домов. Но старинная солодовня — достопримечательность прихода — снесена уже двадцать лет тому назад, и большинство домиков с соломенными крышами и слуховыми окнами разделили ту же участь. Прекрасный старинный дом героини перенесен в моей повести, по крайней мере, на милю от того места, где он действительно находится, но если не считать этого, он и по сию пору, и при солнечном и при лунном свете, выглядит точь-в-точь так, как он описан. Игра в бары, которая совсем недавно чуть ли не круглый год велась с неослабеваемым азартом перед обветшалой хлебной биржей, теперь, насколько мне известно, совсем не в чести у современных ребят. Гадание по Библии с ключом, письма на Валентинов день, чему придавалось такое важное значение, ужин по окончании стрижки овец, длинные балахоны стригачей, празднества после уборки хлеба — все это исчезло вместе со старыми домами, а вместе с этим исчезли и посиделки с выпивкой, которые так любила старая деревня. Коренной причиной всех этих перемен было совершившееся недавно по-

степенное вытеснение постоянного класса местных жителей, поддерживавших местные традиции и обычаи, и замена их сезонными рабочими, переходящими с места на место. Это оборвало течение истории местного края, ибо необходимое условие для сохранения преданий, фольклора, тесных взаимоотношений и своеобразных типов, характерных для этой среды, — это крепкая привязанность к почве, к одному месту, где рождаются, растут и сменяются одно поколение за другим.

*Т. Г.
1895 — 1902*





ГЛАВА 1

Портрет фермера Оука. Происшествие

Когда фермер Оук улыбался, губы у него так расплывались, что углы рта оказывались где-то возле ушей, а глаза становились узенькими щелчками, и вокруг них проступали морщинки, которые разбегались во все стороны, словно лучи на детском рисунке, изображающем восход солнца.

Звали его Габриэль, и в будние дни это был рассудительный молодой человек, одетый как полагается, державшийся спокойно и просто, словом, во всех отношениях вполне положительная личность. По воскресеньям это был человек несколько неопределенных взглядов, склонный к медлительности и скованный в движениях своей праздничной одеждой и зонтом, словом, человек, сознающий себя частью того обширного срединного слоя ни во что не вмешивающихся лаодикеян, который отделяет благочестивых прихожан от пьянствующих низов прихода; скажем так, он ходил в церковь, но посреди службы задолго до «Символа веры» уже начинал позевывать, а когда дело доходило до проповеди, он,

вместо того чтобы внимать ей, раздумывал о том, что у него нынче будет на обед. Ну, а если характеризовать его, исходя из общественного мнения, то можно сказать так: когда его друзья и судители бывали не в духе, они говорили, что он никудышный человек; когда они бывали навеселе, он становился «славыным парнем», а в тех случаях, когда они были ни то, ни другое, он слыл у них не черным, не белым, а чем-то средним, или, как говорится, — серединка на половинке.

Так как будничных дней в жизни фермера Оука было в шесть раз больше, чем воскресных, то все, кто видел его изо дня в день в обычной рабочей одежде, не представляли его себе иначе, как в этом естественном для него, затрапезном виде. Он всегда ходил в войлочной шляпе с низкой тульей, примятой и раздавленной книзу, потому что в сильный ветер он нахлобучивал ее на самый лоб, и в теплой куртке, наподобие душегрейки доктора Джонсона. Его нижние конечности были облачены в толстые кожаные гетры и исполинских размеров башмаки, в которых каждой ноге предоставлялось просторное помещение такого добротного устройства, что обутый подобным образом мог целый день простоять в воде и не почувствовать этого; создатель этих башмаков, человек совестливый, все погрешности кроя старался возместить беспредельностью размера и прочностью.

Мистер Оук всегда носил при себе серебряные часы, по форме и назначению карманные, но по размеру скорее напоминавшие небольшой будильник. Этот механический прибор, будучи на несколько лет старше деда фермера Оука, отличался тем, что он либо спешил, либо останавливался. Кроме того, его маленькая часовая стрелка время от времени соскальзывала, и таким образом, если даже мину-

ты отмечались с безошибочной точностью, никогда нельзя было быть уверенным, к какому они относятся часу. Со свойством своих часов останавливаться Оук боролся постукиванием и встряхиванием, а от каких-либо дурных последствий двух других недостатков спасался тем, что постоянно проверял время по солнцу, по звездам или же, прильнув лицом к окну своих соседей, старался разглядеть на зеленом циферблате их стенных часов местонахождение часовой стрелки. Следует еще заметить, что карман, в котором Оук носил часы, был чрезвычайно трудно достижим, ибо он помещался в самой верхней части пояса его штанов, пристегнутого высоко под жилетом; поэтому, чтобы достать часы, Оук вынужден был откинуться всем туловищем в сторону, и когда, весь мучительно сморщившись, так что лицо и губы превращались у него в сплошной коричневатокрасный комок, он наконец ухватывал цепочку и вытаскивал часы, это было похоже на то, как тащат ведро из колодца.

Но если бы какой-нибудь наблюдательный человек встретил его в то декабрьское утро — солнечное и на редкость мягкое, — когда он шагал по одному из своих загонов, возможно, у него сложилось бы иное представление о Габриэле Оуке. Лицо этого вполне взрослого мужчины еще сохранило совсем юношескую мягкость и свежесть красок, и даже что-то мальчишеское нет-нет да и проскальзывало в его чертах. Его рослая, широкоплечая фигура, несомненно, привлекала бы внимание, если бы он только держал себя с подобающей внушительностью. Но у некоторых людей, как у горожан, так и у крестьян, их манера держать себя зависит не столько от их костяка и мускулов, сколько от их душевного склада. Они не показывают себя во весь рост, и от этого на самом деле кажутся меньше. Фермер Оук по какой-то застенчи-

вой скромности, которая пристала бы разве что невинной девице, казалось, постоянно был одержим мыслью, что ему не положено занимать много места, и поэтому он старался не привлекать к себе внимания и ходил, не то что сутулясь, а слегка втянув голову в плечи. Это могло бы считаться недостатком у человека, который стремится произвести впечатление, полагаясь на свою внешность больше, чем на умение держать себя, но фермер Оук отнюдь не притязал на это.

Он только что достиг того возраста, когда люди, говоря о нем, перестали предпосылать к слову «человек» обязательную приставку «молодой». Он вступил в счастливейшую пору в жизни мужчины; и ум и чувства его были четко разделены: он уже миновал то время, когда по молодости лет чувства у юноши вторгаются в разум и заставляют его подчиняться их внезапному побуждению, но для него еще не настала пора, когда под влиянием жены и семьи чувства снова завладевают разумом и порождают предвзятость. Короче говоря, ему было двадцать восемь лет, и он был не женат.

Поле, по которому он шагал в это утро, раскинулось по косогору одного из увалов холма, носившего название Норкомбский холм. Через отрог этого холма пролегала дорога из Эмминстера в Чок-Ньютон. Взглянув мимоходом поверх изгороди, Оук увидел спускающуюся по дороге нарядную рессорную повозку, выкрашенную в желтый цвет с пестрым узором; повозку везла пара лошадей, а возчик шагал рядом с кнутом в руке, который он держал, опустив вниз. Повозка была нагружена домашним скарбом, цветочными горшками с комнатными растениями, а поверх всего этого сидела молодая привлекательная женщина. Габриэль едва успел охватить взглядом это

зрелище, как вдруг повозка остановилась почти против его изгороди.

— Задок потеряли, мисс, — сказал возчик.

— Так это я, верно, и слышала, как он упал, — отозвалась девушка не то чтобы тихим, но скорее мягким голосом. — Я слышала, что-то стукнуло, когда мы поднимались в гору, да мне не пришло в голову, что это задок.

— Пойду погляжу.

— Ступайте, — сказала она.

Умные лошадки стояли спокойно, и шаги возчика, удаляясь, вскоре затихли вдали.

Девушка сидела не двигаясь на груди домашнего скарба, среди перевернутых вверх ногами столов и стульев, прислонясь к громоздившемуся за ее спиной дубовому ларю и живописно обрамленная спереди горшками с геранью, миртами, кактусами и клеткой с канарейкой, — все это, вероятно, было снято с окон только что покинутого дома. Тут же была и кошка в плетеной корзинке с крышкой, которая была задвинута не до конца; кошка, жмурясь, выглядывала из корзинки и провожала умильным взглядом порхавших кругом птичек.

Хорошенькая девушка некоторое время сидела, спокойно откинувшись, и в тишине слышно было только порханье канарейки, перепрыгивающей с жердочки на жердочку в своей клетке. Затем девушка внимательно поглядела куда-то вниз; не на кошку и не на канарейку, а на какой-то продолговатый сверток в бумаге, лежавший между корзинкой и клеткой. На секунду она оглянулась посмотреть, не идет ли возчик. Его еще не было видно, и взгляд ее снова устремился к свертку: по-видимому, мысли ее были поглощены тем, что в нем находилось. Наконец она протянула руку за свертком, переложила его к себе на колени и развернула; это оказалось

маленькое висячее зеркало, она поднесла его к лицу и стала пристально себя разглядывать, потом вдруг разомкнула губы и улыбнулась.

Это было чудесное утро; в ярком солнечном свете ее бордовый жакет казался огненно-красным, и мягкие блики скользили по ее оживленному лицу и темным волосам. Мирты, герань, кактусы, громоздившиеся вокруг нее, были зелены и свежи, и в это безлиственное время года они придавали всему — и лошадям, и повозке, и домашнему скарбу, и девушке — какое-то особенное, весеннее очарование. Что это ей вздумалось вдруг пококетничать, когда кругом не было ни души и никто не мог наблюдать за ней, кроме воробьев, дроздов да этого фермера, о присутствии которого она не подозревала, — кто знает; была ли эта улыбка деланой, не началось ли все с того, что ей захотелось попробовать свои силы в этом искусстве, — сказать трудно, но, несомненно, потом улыбка стала естественной. Девушка даже слегка покраснела и, глядя на себя в зеркало, еще больше залилась краской.

То, что все это происходило не в обычной обстановке в часы одевания, в спальне, когда глядятся в зеркало по необходимости, а в повозке под открытым небом, сообщало этому праздному занятию характер новизны, которой оно, в сущности, не обладало. Получилась прелестная картинка. Обычная женская слабость выглянула украдкой на свет и вдруг заиграла на солнце каким-то неожиданным своеобразием. Глядя на эту сцену, Габриэль Оук, как ни великодушно он был настроен, не мог не прийти к довольно-таки циническому умозаключению: ей вовсе не было надобности смотреться в зеркало. Она не поправила на себе шляпу, не пригладила волосы, не провела рукой по лицу и не сделала ни одного жеста, который позволил бы догадаться,

почему, собственно, ей понадобилось смотреться в зеркало. Она просто созерцала себя как достойное произведение природы, создавшей такой прекрасный экземпляр женского пола, и, должно быть, ей представилось некое отдаленное, но вполне вероятное будущее, когда вокруг нее будут разыгрываться драмы с участием мужчин — и они все у ее ног. Тут, верно, и появилась эта улыбка — она уже видела себя покорительницей сердец. Конечно, все это было не больше чем предположение; и, во всяком случае, все движения ее были так непосредственны, что усмотреть в них какую-то преднамеренность было бы весьма опрометчиво. На дороге послышались шаги возвращающегося возчика. Она завернула зеркало в бумагу и положила сверток на прежнее место.

Когда повозка двинулась дальше, Габриэль покинул свой наблюдательный пункт и, спустившись на дорогу, пошел следом за повозкой к заставе у подножья холма, где объект его наблюдений вынужден был остановиться для оплаты дорожных сборов. Еще не дойдя до заставы, шагах в двадцати он услышал громкие пререканья. Люди с повозки спорили со сторожем у заставы из-за двух пенсов.

— Племянница хозяйки, вон она сидит на возу, говорит, что достаточно с тебя и того, что я дал, сквалыга ты этакий, больше она платить не будет! — кричал возчик.

— Очень хорошо, тогда, значит, племянница хозяйки дальше не поедет, — отвечал сторож, закрывая ворота.

Оук, приблизившись к спорщикам, молча переводил взгляд с одного на другого и размышлял. Два пенса казались ему сейчас чем-то совершенно ничтожным. Три пенса — это уже были деньги, урвать три пенса из дневного заработка — это чувствительный урон, есть из-за чего поторговаться; но два пенса...

— Вот получите, — сказал он, выходя вперед и протягивая сторожу двухпенсовик, — пропустите эту молодую женщину.

И он поднял на нее глаза, а она в этот миг, услышав его слова, поглядела вниз.

Лицо Габриэля в общих чертах представляло собой до такой степени нечто среднее между прекрасным ликом апостола Иоанна и безобразным Иудой Искарриотом, какими они были изображены на потускневшем витраже церкви в ее приходе, что глазу не на чем было задержаться. Оно не привлекало к себе внимания, ибо ничем не выделялось. К такому же заключению пришла, по-видимому, и темноволосая девушка в красном жакете, потому что она только бегло скользнула по нему взглядом и приказала возчику трогать. Может быть, этот взгляд и был изъявлением благодарности Габриэлю, но она не сказала ему спасибо, да скорей всего и не чувствовала никакой благодарности, потому что, заплатив за ее проезд, он тем самым заставил ее сдать в споре, а какая женщина будет признательна за такого рода услугу?

Сторож проводил взглядом удалявшуюся повозку.

— А красивая девушка, — заметил он, поворачиваясь к Оуку.

— И у нее есть свои недостатки, — сказал Габриэль.

— Верно, фермер.

— И самый большой — это тот, что всегда за ними водится.

— Морочить добрых людей? Что правда, то правда.

— Да нет, совсем не то.

— А что же тогда?

Габриэль, может быть, слегка уязвленный равнодушием миловидной путницы, поглядел через плечо на изгородь, из-за которой он только что наблюдал пантомиму с зеркалом, и сказал:

— Суетность, вот что.



ГЛАВА 2

Ночь. Отара. Бытовая картинка.
Еще бытовая картинка

Это был канун Фомина дня, самого короткого дня в году. Время было около полуночи... Отчаянный ветер дул с севера из-за того самого холма, где всего несколько дней тому назад, в ясное солнечное утро, Оук наблюдал желтую повозку и сидевшую в ней путницу.

Норкомбский холм недалеко от пустоши Толлердаун принадлежал к норкомбским земельным угодьям, которые сдавались в аренду под овечьи выгоны, и путнику, идущему мимо этого холма, невольно приходило на ум, что эта ровная округлость, пожалуй, одно из самых несокрушимых образований земной толщи, какое только можно встретить на земном шаре. Эта ничем не примечательная выпуклость из песка и мела, похожая на обыкновенную шишку, вздвинутая на поверхности земли, уцелела бы, вероятно, при любом катаклизме, который сокрушил бы гораздо более высокие горы и мощные гранитные скалы.

На северном склоне холма была когда-то заповедная буковая роща, которая давно уже пришла в запустенье и превратилась в дикую чащу: кроны ее верхних деревьев поднимались над гребнем косматой дугой, словно взлохмаченная грива. Сейчас эти верхние деревья защищали южный склон от бешеных порывов ветра, который с яростью врывался в рощу, с ревом проносился по ней, круша все на своем пути, и, захлебнувшись на гребне, нет-нет да и перехлесты-

вал через него с жалобным стоном. Сухие листья в канаве вдруг точно вскипали на ветру; иногда вихрю удавалось выхватить и унести несколько листьев, и он гонял их по траве и кружил в воздухе. Эта масса палой сухой листвы изредка пополнялась только что упавшими листьями, которым до сих пор, до половины зимы, удалось удержаться на ветвях, и теперь, отрываясь, они падали, звучно постукивая о стволы.

Между этим наполовину лесистым, наполовину обнаженным холмом и туманным, недвижным горизонтом, над которым он смутно громоздился, лежала непроницаемая пелена бездонной мглы, но по шуму, доносившемуся оттуда, можно было догадаться, что и там, за этой мглой, творится примерно то же, что и здесь. Чахлая трава, кое-где покрывавшая холм, страдала от натисков ветра не только различной силы, но и различного характера; он то обрушивался на нее и валил на землю, то раскидывал и греб, как граблями, то приминал и приглаживал, как щеткой. Человек, очутившийся на этом холме, невольно остановился бы послушать жалобные голоса деревьев, которые, словно в церковном хоре, вторили и отвечали друг другу, подхватывая то справа, то слева горестные стенанья и вопли, а придорожные кусты с подветренной стороны и еще какие-то темные тени не сразу откликались им чуть слышным всхлипываньем, а затем ветер в стремительном порыве перекидывался на южный склон, и все стихало.

Небо было ясное — на редкость ясное, и мерцанье звезд казалось трепетаньем единой плоти, в которой бьется один общий пульс. Полярная звезда стояла прямо над тем местом, откуда дул ветер, а Большая Медведица с вечера успела повернуться вокруг нее ковшом к востоку и теперь находилась под прямым углом к меридиану. Различие в цвете звезд, о котором в Англии знают скорее по книжкам и редко кто наблюдал воочию, сейчас было явственно видно. Царственно свер-

кающий Сириус резал глаз своим стальным блеском, звезда, известная под названием Капеллы, была желтая, Альдебаран и Бетельгейзе горели огненно-красным.

Для человека, который в такую ясную ночь стоит один на вершине холма, вращение земли с запада на восток становится почти ощутимым. Вызывается ли это ощущение величественным движением звезд, которые, плывя по небосводу, оставляют позади разные земные вехи, — а это, если постоять спокойно, начинаешь замечать через несколько минут, — или, может быть, безграничным пространством, открывающимся с вершины холма, или ветром, или просто одиночеством, — чем бы оно ни вызывалось, это очень явное ощущение, и оно длится — ты чувствуешь, как плывешь вместе с землей. Поэзия движения... Как много у нас говорят об этом, но чтобы ощутить ее во всей полноте, надо взойти ночью на вершину холма и, исполнившись сначала сознанием разительного отличия от остальной массы цивилизованного человечества, мирно почивающего в этот час и не интересующегося подобными вылазками, созерцать спокойно и длительно собственное величавое движение среди светил. После такого ночного странствия, когда человек отрешается от привычного образа мыслей и представлений, иные так воспаряют духом, что чувствуют себя уже готовыми для вечности.

Внезапно какие-то неожиданные звуки прокатились по холму и понеслись в небо. Они отличались четкостью, несвойственной ветру, и связностью, какой не бывает в природе. Это были звуки флейты фермера Оука.

Мелодия не плыла по воздуху, не лилась свободно, ее как будто что-то теснило, и едва только она устремлялась ввысь и вдаль, как тут же и обрывалась. Она доносилась со стороны какого-то небольшого темного выступа под изгородью, окружавшей буко-

вую рощу, — это была пастушеская хижина, но сейчас в темноте человек непосвященный никак бы не мог догадаться, что здесь такое громоздится и зачем.

В общем, это имело вид маленького Ноева ковчега на маленьком Арарате, в том трафаретном изображении, какое вошло в традицию у игрушечных мастеров, а благодаря этому отложилось и в нашем представлении в том же неизменном виде, в каком оно запомнилось в детстве и сохранилось на всю жизнь вместе с другими неизгладимыми ранними впечатлениями. Хижина стояла на небольших колесах, так что пол ее примерно на фут возвышался над землей. Такие пастушеские хижины вывозятся на пастбище, когда овцам приходит пора ягниться, чтобы у пастуха был приют на время его вынужденного ночного бдения.

Габриэля только с недавних пор стали величать фермером Оуком. За последний год, благодаря своему необыкновенному усердию и никогда не изменяющей ему бодрости, он наконец добился того, что мог позволить себе снять в аренду небольшую овечью ферму, куда входил Норкомбский холм, и обзавестись двумя сотнями овец. До этого он некоторое время служил управителем в усадьбе, а раньше был простым пастухом: еще совсем мальчишкой, когда отец его жил в работниках у богатых сквайров, он помогал ему ходить за гуртами овец, и так оно и шло до тех пор, пока старый Габриэль не почил вечным сном.

Попытка заняться фермерством не в качестве батрака, а на правах хозяина, своими силами, в одиночку, да еще выплачивать при этом долг за овец, была, разумеется, рискованным делом, и Габриэль Оук прекрасно сознавал это. Первое, о чем надо было позаботиться для успешного продвижения по новой для него стезе, — это сохранить приплод, а так как во всем, что касается овец, Габриэль разбирался лучше всякого другого, он не решился доверить их кому-ли-

бо в это время года, опасаясь, как бы они не попали в чьи-нибудь нерадивые или неумелые руки.

Ветер по-прежнему ломился в хижину, но игра на флейте прекратилась. Внезапно в стене хижины вырезался освещенный прямоугольник и в нем фигура фермера Оука. В руке у него был фонарь, он вышел и закрыл за собой дверь; в течение примерно двадцати минут он возился на ближнем участке выгона, свет его фонаря то появлялся, то пропадал, мелькая то там, то тут, и фигура Оука то выступала на свету, то исчезала в темноте, в зависимости от того, стоял ли он позади фонаря или заслонял его собой.

Движения Оука, хотя они и отличались какой-то спокойной силой, были медлительны, и их неторопливость вполне соответствовала его занятию. Поскольку соответствие — основа всего прекрасного, нельзя было не признать, что в этих уверенных движениях, когда он, то наклоняясь, то выпрямляясь, прохаживался среди своих овец, была какая-то своеобразная грация. И хотя в случае надобности он мог действовать и соображать с такой же молниеносной быстротой, какая более свойственна горожанам, ибо у них это вошло в привычку, — сила, отличавшая его нравственно, физически и духовно, пребывала в состоянии покоя и, как правило, ничего, или почти ничего, не выигрывала от скорости.

Приглядевшись внимательно к окружающей местности, можно было даже и при слабом свете звезд обнаружить, с какой тщательностью этот, в сущности говоря, голый склон был приспособлен фермером Оуком для того важного дела, на которое он возлагал надежды в эту зиму. Кругом, там и сям, виднелись прочно вбитые в землю плетеные загородки, перекрытые соломой, а под ними и между ними копошились белые комочки ягнят. Звон овечьих бубенчиков, стихший в отсутствие Оука, теперь возобновился,

но в нем не было звонкости, звук был скорее мягкий, заглушенный густой шерстью, разросшейся вокруг бубенцов. Он продолжался до тех пор, пока Оук не покинул стадо. Он вернулся в хижину, неся на руках только что родившегося ягненка, представлявшего собой четыре длинных ноги, достаточно длинных для взрослой овцы, и соединявшей их тоненькой мездры, вся совокупность коей составляла примерно половину всех четырех ног, вместе взятых, и это было все, из чего состояло сейчас туловище животного.

Оук положил этот маленький живой комочек на охапку сена перед небольшой печкой, на которой сейчас кипело в кастрюльке молоко, задул фонарь, снял пальцами нагар, — хижину освещала свеча, вставленная в скрученную на конце, спускавшуюся с потолка проволоку.

В этом очень тесном жилище половину места занимало довольно твердое ложе из наваленных один на другой холщовых мешков из-под зерна; фермер Оук растянулся на нем, развязал свой шерстяной галстук и закрыл глаза. Не прошло и нескольких секунд, другой человек, непривычный к физическому труду, еще только примеривался бы, на какой ему бок повернуться, как фермер уже спал.

Заманчиво и уютно выглядела сейчас внутри маленькая хижина; красный отблеск углей, тлеющих в печке, и пламя свечи, отражавшееся веселыми бликами на всем, куда доставал ее свет, придавали какой-то праздничный вид даже посуде и инструментам. В углу стоял посох, а вдоль стен и на полке выстроились бутылки и жестянки со всякими средствами, необходимыми для ухода за овцами, для их лечения и оперирования. Главными из этих средств были спирт, скипидар, деготь, магнезия, имбирь и касторовое масло. На угловой полке лежали хлеб, сало, сыр, стояла кружка для пива или сидра, а в углу под полкой —

фляжка, из которой, видимо, и наливали в кружку. Тут же, рядом со съестными припасами, лежала флейта, которая скрашивала своим пением томительные часы бодрствования одинокого фермера. Хижина проветривалась посредством двух круглых отверстий, похожих на иллюминаторы с деревянными задвижками.

Пригревшись у печки, ягненок зашевелился и заблеял, и этот звук, едва коснувшись слуха Габриэля, мгновенно вошел в его сознание как нечто ожидаемое. Он моментально проснулся и, очнувшись с такой же легкостью, с какой он незадолго до этого погрузился в крепчайший сон, взглянул на часы, обнаружил, что часовая стрелка опять соскользнула, надел шляпу и, взяв ягненка на руки, вышел с ним в темноту. Положив малыша к матери, он отошел на несколько шагов и, остановившись, стал внимательно оглядывать небо, чтобы определить по положению звезд, который сейчас может быть час.

Сириус и Альдебаран, повернувшись к беспокойным Плеядам, уже прошли половину своего пути по небу Южного полушария, а между ними висел Орион, и это пышное созвездие, казалось, никогда не пылало так ярко, как сейчас, когда оно словно повисло над горизонтом. Кастор и Поллукс мирно светились на самом меридиане, а сумрачный, полый квадрат Пегаса тихонько поворачивался на северо-восток; далеко за лесом, словно лампа, висящая среди обнаженных деревьев, поблескивала Вега, а кресло Кассиопеи стояло, чуть покачиваясь, на верхних ветвях.

— Время час, — определил Габриэль.

У него нередко бывали минуты, когда он живо чувствовал, что в жизни, которая выпала ему на долю, есть своя прелесть, и вот сейчас, покончив со своими наблюдениями, он продолжал стоять и смотреть на небо, но уже не как на полезный механизм, а с восхищением, как на прекрасное произведение искусства. С минуту

он стоял, словно потрясенный полной отчужденностью этой живущей своей жизнью бездны, или, вернее, ее непричастностью ко всему людскому, ибо на всем пространстве, которое она обнимала, не было ни видно и ни слышно ни души. Люди с их распрями, заботами, радостями как будто и не существовали, и, казалось, на всем погруженном во мрак полушарии Земли не было ни одного земного существа, кроме него; можно было подумать, что они все на другой, солнечной стороне.

Так он стоял, поглощенный своими мыслями, глядя прямо перед собой в необъятную даль, и прошло некоторое время, прежде чем он с удивлением обнаружил, что светящаяся точка совсем низко на небе по ту сторону букового леса, которую он принимал за звезду, вовсе не звезда, а свет от огня, горевшего где-то совсем рядом.

Бывает иной раз, очутится человек где-нибудь совсем один ночью, и ему становится жутко, и он ждет и надеется, что вот-вот кто-нибудь появится вблизи. Но еще более трудное испытание для нервов — это обнаружить около себя чье-то таинственное присутствие, когда все ваши чувства, и восприятия, и память, и чутье, и сопоставления, и доводы, и догадки, и умозаключения, и все доказательства, которыми располагает логика, — все вселяет в вас полную уверенность, что вы в полнейшем уединении.

Фермер Оук вошел в рощу и, пробравшись меж густо разросшимися нижними ветвями, очутился на противоположной, наветренной стороне холма. Какой-то темный бугор выступал под откосом, и он вспомнил, что где-то здесь, в выбоине холма, стоял сарай, сколоченный из просмоленных досок, прибитых спереди к столбам и покрытых крышей, которая сзади приходилась вровень с землей. Сквозь щели в крыше и в стене просачивались узенькие полоски света, и это слившееся в одну точку, мерцающее из-за

деревьев сияние и обмануло его. Оук подошел поближе и, нагнувшись над крышей, заглянул в щель — в нее было хорошо видно все помещение сарая.

Там находились две женщины и две коровы. Возле одной из коров стояло ведро с пойлом из отрубей, от которого поднимался пар. Одна из женщин была более чем пожилого возраста; ее товарка показалась Оуку молоденькой, привлекательной, но он не мог судить о ее внешности, потому что ему было видно ее только сверху, иначе говоря, он созерцал ее с высоты птичьего полета, подобно тому, как мильтоновский Сатана впервые созерцал Рай. На ней не было ни чепца, ни шляпы, она куталась в широкий плащ, накинутый прямо на голову.

— Ну, пора, идем-ка домой, — сказала старшая и, упершись руками в бока, огляделась по сторонам, словно проверяя, все ли в порядке. — Я думаю, Дэзи теперь обошлась. Уж как я перепугалась, до смерти! Весь сон пропал. Ну, ничего, кажется, мы ее выходили.

Молодая девушка, у которой, едва только наступало молчанье, наверно, слипались глаза, сладко зевнула, не разжимая губ, и Габриэль, заразившись от нее, тоже сочувственно зевнул.

— Как бы я хотела, чтобы у нас было побольше денег, чтобы можно было держать работника и он бы со всем этим возился, — сказала она.

— Но так как у нас их мало, — возразила другая, — хочешь не хочешь, а приходится возиться самим, и ты должна мне помогать, если ты у меня останешься.

— А шляпка моя, наверно, пропала, — промолвила девушка. — Должно быть, за изгородь унесло. И ветер-то совсем слабый был, и вот надо же — сорвал.

Корова, стоявшая неподвижно, была девонской породы, плотно обтянутая гладкой блестящей шкурой такого ровного медно-красного цвета, без единого пятнышка, на всей поверхности от головы до

хвоста, что казалось, ее целиком окунули в медную краску; спина у нее была длинная и совершенно плоская. Другая корова была пестрая, в серых и белых пятнах. Возле нее Оук только теперь заметил маленького теленка, не старше одного дня; он тупо уставился на женщин невидимо, еще не освоил свой аппарат зрения, ибо то и дело поворачивался к фонарю, который он, должно быть, принимал за луну, — с тех пор как он появился на свет, прошло еще так мало времени, что унаследованный им инстинкт еще не выправился опытом. Люцине, богине родов, было много забот последнее время и с овцами, и с коровами на Норкомбском холме.

— Я думаю, не послать ли нам за овсяной мукой, — сказала пожилая женщина, — отруби уже все вышли.

— Ладно, тетя, я сама съезжу за ней, как только рассветет.

— Но у нас нет такого седла, дамского-то.

— А я могу и на мужском, вы за меня не бойтесь.

Слушая этот разговор, Оук сделал было еще попытку разглядеть черты молодой девушки, его разбирало любопытство, но все его усилия были тщетны, ибо голова ее была покрыта плащом, и, кроме плаща, ему сверху ничего не было видно; тогда он попытался представить ее себе воображением. Даже в тех случаях, когда объект наших наблюдений находится прямо перед нами, на уровне наших глаз, и ничто не мешает нам его видеть, мы придаем ему те краски и те черты, какие нам самим хочется в нем видеть. Если бы Габриэлю с самого начала удалось увидеть ее лицо, оно показалось бы ему красивым или не очень, в зависимости от того, нуждалась ли его душа в кумире или ею уже завладел кто-то. А так как с некоторых пор душе его явно чего-то недоставало и нечем было заполнить пустоту, томившую ее, то вполне естественно, что сейчас, когда воображению его был

предоставлен полный простор, он нарисовал ее себе ангелом красоты.

И надо же, чтобы в эту самую минуту — такие удивительные совпадения охотно подстраивает природа, точь-в-точь как любящая мать, которая среди своих непрерывных хлопот нет-нет да и пошутит с детьми, — девушка откинула плащ, и ее черные косы упали на красную жакетку. Оук тотчас же узнал в ней утреннюю героиню из желтой повозки с цветами и зеркалом, — словом, ту самую молодую женщину, которую задолжала ему два пенса.

Они положили телят к матери, взяли фонарь и, выйдя из сарая, пошли по тропинке вниз с холма, и свет от фонаря, скользя по склону, становился все бледнее и бледнее, пока не превратился в чуть заметное пятнышко. Габриэль Оук зашагал обратно, к своему стаду.



ГЛАВА 3

Девушка на лошади.
Разговор

Медленно пробуждался день. На земле даже его пробуждение всякий раз вызывает к жизни новые чаяния, и фермер Оук, едва рассвело, снова направился к роще, хотя никакой причины к этому, кроме ночной сцены, которую он наблюдал там, не было. Погруженный в задумчивость, он бродил среди деревьев, как вдруг до него донесся стук копыт, и у подошвы холма на тропинке, ведущей вверх мимо сарая с коровами, показалась пегая лошадка с сидящей на ней верхом девушкой. Это была та самая девушка, которую он видел ночью. Габриэль тот-

час же вспомнил про шляпку, которую с нее сорвало ветром; может быть, она приехала искать ее. Он поспешно заглянул в канаву и, пройдя вдоль нее шагов десять, увидел шляпку среди вороха листьев. Габриэль поднял ее и вернулся к себе в хижину. Здесь он примостился у своего круглого оконца и стал наблюдать за приближающейся всадницей.

Поднявшись на холм, она сначала огляделась по сторонам, потом заглянула за изгородь. Габриэль совсем было уже собрался выйти ей навстречу и возвратить потерянную собственность, но тут она неожиданно выкинула нечто такое, что он просто остолбенел и забыл о своем намерении.

Тропинка, миновав сарай, углублялась в рощу. Это была совсем узенькая пешеходная тропинка, отнюдь не для езды; ветви деревьев сходились над ней невысоко от земли, ну разве что на высоте каких-нибудь семи футов, так что проехать здесь верхом нечего было и думать. На девушке было обыкновенное платье, не совсем подходящее для верховой езды; подъехав к роще, она быстро огляделась по сторонам, словно желая убедиться, что кругом нет ни души, ловко откинулась назад, так что голова ее очутилась у самого хвоста, и, глядя в небо, уперлась ногами в шею лошади. Все это совершилось в одно мгновение, она просто скользнула стремительно, как зимородок, бесшумно, как сокол. Габриэль даже не успел уловить ее движений. Рослая, сухощавая лошадка, видимо, привыкла к такому обращению и невозмутимо продолжала трусить легкой рысцей. Так они и проехали под сводом деревьев.

Наездница, видимо, чувствовала себя как дома на спине лошади, в любой ее точке от головы до хвоста, и когда чаща деревьев осталась позади и надобность в такой необычной позе миновала, она попробовала принять другую, более удобную. Седло было не дам-

ское, и усесться прочно, извернувшись лежа, на гладкой скользкой коже оказалось не так-то просто. Тогда она вскочила, выпрямившись, как молодое деревцо, и, убедившись, что кругом никого нет, уселась, правда, не совсем так, как подобало сидеть женщине, но, во всяком случае, так, как подобало сидеть в этом седле, и вскоре скрылась из глаз, свернув к мельнице.

Оуку все это показалось несколько диковинным и очень забавным; он повесил шляпу в хижине и отправился снова к своим овцам. Примерно через час девушка проехала обратно, сидя теперь вполне благопристойно рядом с привязанным к седлу мешком с отрубями. У сарая ее встретил мальчик с ведром в руке. Она бросила ему поводья и спрыгнула с лошади. Мальчик увел лошадь, оставив ей ведро для молока. Вскоре из сарая послышались мерно перемежающиеся то звонкие, то глухо всхлипывающие звуки — там доили корову. Габриэль взял потерянную шляпку и вышел к тропинке, по которой девушка должна была пройти, чтобы спуститься с холма. Она вышла, неся в одной руке ведро на уровне колена и вытянув для равновесия другую, левую руку, которая, высунувшись из рукава, заставила Оука невольно пожалеть, что дело происходит не летом, когда она была бы открыта вся целиком. Сейчас на лице девушки было написано такое удовлетворение и торжество, как если бы она всем своим видом заявляла, что ее существование на белом свете должно радовать всех; и это дерзкое допущение даже не казалось вызывающим, потому что всякий, глядя на нее, чувствовал, что так оно, в сущности, и есть. Так необычная выразительность, которая в речах посредственности показалась бы смешной, усиливает власть гения и придает внушительность его слову. В глазах девушки мелькнуло удивление, когда физиономия Габриэля вынырнула перед ней, словно луна из-за ограды.

Сложившийся в представлении фермера неясный очаровательный облик сейчас, когда он очутился лицом к лицу с живой натурой, не то чтобы проиграл от сравнения, а скорее как-то изменился. Начать с того, что он ошибся в росте. Она казалась высокой, но ведро было маленькое, а изгородь низкая, поэтому, делая скидку на это невольное сопоставление, следовало признать, что рост ее не превышал того, какой считается самым хорошим у женщин. Черты лица у нее были правильные, строгие. Ценители красоты, изъездившие вдоль и поперек нашу страну, справедливо замечали, что у англичанок классическая красота лица редко соединяется с такой же совершенной фигурой; строгие точеные черты чаще бывают крупными и в большинстве случаев не соответствуют росту и сложению, а изящная пропорциональная фигурка обычно сочетается с неправильными чертами лица. Не возводя нашу молочницу в нимфы, скажем просто, что здесь все критические замечания отпадали сами собой и любому критику доставило бы несомненное удовольствие созерцать такое совершенство пропорций. Округлые очертания стана позволяли предположить красивые плечи и грудь, но с тех пор как она перестала быть ребенком, их никто не видел. Если бы ее нарядили в платье с низким вырезом, она бы бросилась сломя голову куда-нибудь в кусты. А она была далеко не из застенчивых. Просто она инстинктивно проводила черту между доступным и запретным для чужого взгляда, и черта эта была несколько выше, чем у горожанок. Как только она поймала устремленный на нее взгляд Оука, мысли ее, естественно, последовали за его взглядом к собственному лицу и фигуре. Будь это откровенное самолюбование, оно показалось бы тщеславием, а если бы она постаралась его скрыть, она проявила бы несвойственную ей высокомерную сдержанность.

В деревне девичьи лица чувствительны к пламенным взорам мужчин. Она поспешно провела рукой по щекам, как если бы Габриэль и впрямь коснулся их розовой кожи, и в ее непринужденных движениях появилась какая-то неуловимая застенчивость. Но краска вспыхнула на щеках мужчины, а она не покраснела.

— Я нашел шляпку, — вымолвил Оук.

— Это моя, — сказала она и, стараясь держать себя как подобает, подавила желание расхохотаться и только улыбнулась. — Она нынче ночью у меня улетела.

— В час ночи?

— Да, верно. — Она явно удивилась. — А вы откуда знаете?

— Я был тут.

— Вы фермер Оук? Не правда ли?

— Да, похоже, что так. Я здесь совсем недавно.

— И большая у вас ферма? — поинтересовалась она, обводя взглядом склон холма и откидывая со лба волосы. Они были черные, густые, но сейчас солнце, которое взошло всего час тому назад, брызнуло на них своими лучами и позолотило волнистые прядки.

— Да нет, небольшая. Так около сотни будет (местные жители, говоря о ферме, опускают по старинке слово акр).

— Нынче утром мне так нужна была моя шляпка, — продолжала она. — Я ездила на мельницу.

— Да я знаю.

— Откуда вы знаете?

— Я вас видел.

— Где? — спросила она, застыв на месте и уже чувствуя ответ.

— Да вот здесь, когда вы ехали через рощу и потом спускались с холма, — отвечал фермер Оук весьма многозначительным тоном, относящимся к тому, что само собой невольно возникло перед его взглядом,

устремленным на теряющуюся вдали тропинку, и тут он перевел глаза на свою собеседницу.

Но едва только он взглянул на нее, как сразу отвел взгляд, и с такой поспешностью, как если бы его уличили в воровстве. Когда девушка вспомнила свои акробатические номера во время езды через рощу, ее сначала кинуло в дрожь, а потом всю с ног до головы обдало жаром. Вот когда можно было увидеть, как способна покраснеть женщина, которой отнюдь не свойственно краснеть. На лице ее не осталось ни следа белизны. Она вся покрылась краской до корней волос, и краска эта все густела, постепенно переходя от девичьего румянца через все оттенки Розы Прованса до Алой Тосканы, пока не стала совсем густо-пунцовой. Оук из деликатности отвернулся.

Человек великодушный, он заставлял себя смотреть в сторону, думая, скоро ли она овладеет собой настолько, что ему можно будет позволить себе снова глядеть на нее. Вдруг ему послышался словно шелест листа, подхваченного ветром, он взглянул, а ее уже и след простыл.

Габриэль, представляя собой поистине трагикомическое зрелище, вернулся к своей работе.

Прошло пять дней и пять вечеров. Девушка аккуратно приходила доить здоровую корову и ухаживать за больной, но ни разу не позволила себе хотя бы бросить взгляд в сторону Оука. Он глубоко оскорбил ее своей бестактностью, и дело было не в том, что он видел то, что ему не полагалось — это случилось не по его вине, — а в том, что он нашел нужным сказать ей об этом. Ибо как нет греха, если нет запрета, так нет и неприличия, если нет чужих глаз; а теперь выходило, что из-за подглядывания Габриэля (а ведь она этого не знала) ее поведение оказалось непристойным. Габриэль страшно огорчился своим промахом, и все это только сильнее разжигало вспыхнувшее в нем чувство.

Но, может статься, знакомство на том бы и кончилось, и он мало-помалу перестал бы о ней думать, если бы в конце той же недели не случилось одно происшествие. В этот день после полудня сильно похолодало; к вечеру ударил мороз, словно он только и ждал темноты, чтобы незаметно захватить все в свои оковы. В деревне в такую стужу в хижинах от дыхания спящих индевеют простыни, а в хорошем городском доме с толстыми стенами у сидящих перед камином бежит холодок по спине, хотя в лицо так и пышет жаром. В этот вечер много маленьких пташек укрылось голодными на ночь среди оголенных ветвей.

Незадолго до того часа, когда девушка обычно приходила доить, Оук, как всегда, занял свой наблюдательный пост над сараем. Сильно прозябнув, он подобросил овцам, которые собирались ягниться, еще по охалке соломы и вернулся в хижину, чтобы подложить дров в печурку. Ветер так и садил из-под дверцы, и, чтобы защититься от него, он повернул свой домик на колесах в другую сторону.

Тогда ветер ворвался в отдушины — их было две, одна против другой в боковых стенах. Габриэль хорошо знал, что одна из них должна быть непременно открыта, если в хижине топится печь и затворена дверь; открывалась обычно та, в которую меньше дуло. Он задвинул отдушину с наветренной стороны и хотел было открыть другую, но решил на минутку присесть и подождать, чтобы в хижине немножко обогрелось. Он сел.

У него заболела голова, это было нечто совершенно непривычное для него, и он подумал, что, должно быть, сказывается усталость, — последние ночи ему приходилось вставать к овцам, и он спал урывками. Он сказал себе, что он сейчас встанет, откроет отдушину и завалится спать. Но он свалился и заснул, прежде чем успел что-либо сделать.

Сколько времени он пробыл без сознания, для него так и осталось неизвестным. В первый момент, когда он очнулся, ему показалось, что с ним происходит что-то странное. Собака выла, голова у него разламывалась от боли, кто-то тряс его за плечи, чьи-то руки развязывали его шейный платок. Открыв глаза, он с удивлением обнаружил, что сумерки уже сменились темнотой. Возле него сидела та самая девушка с необыкновенно пленительными губками и ослепительными зубами. Более того, и это было самое удивительное — голова его лежала у нее на коленях, причем лицо и шея у него были противно мокрые, а ее пальцы расстегивали его ворот.

— Что случилось? — растерянно вымолвил Оук.

Она, по-видимому, обрадовалась, но не настолько, чтобы тут же и рассмеяться.

— Теперь можно сказать, ничего, раз вы не умерли, — ответила она. — Надо только удивляться, что вы не задохлись насмерть в этой своей хижине.

— А, хижина! — пробормотал Габриэль. — Десять фунтов я заплатил за эту хижину. Но я ее продам и буду укрываться в плетеном шалаше и спать на соломе, как в старину делали. Вот только на днях она чуть было не сыграла со мной такую же штуку! — И Габриэль для убедительности стукнул кулаком об пол.

— Вряд ли тут можно винить хижину, — возразила она таким тоном, что сразу можно было сказать, что эта девушка представляет собой редкое исключение — она додумывает до конца свою мысль, прежде чем начать фразу, и не подыскивает слова, чтобы ее выразить. — Надо было самому соображать и не поступать так неосмотрительно, не задвигать обе отдушины.

— Да, оно конечно, — рассеянно отозвался Оук.

Он старался проникнуться этим ощущением ее близости — вот он лежит головой на ее платье, —

поймать, удержать этот миг, пока он не отошел в прошлое. Ему хотелось поделиться с ней своими переживаниями; но пытаться передать это неизъяснимое чувство грубыми средствами речи было бы все равно что пытаться донести аромат в неводе. И Оук молчал.

Она помогла ему сесть, и он принялся вытирать лицо и шею, отряхиваясь, как Самсон, пробующий свою силу.

— Как мне благодарить вас? — вымолвил он наконец прочувствованно, и присущий ему коричневатый румянец проступил на его лице.

— Ну что за глупости, — ответила она, улыбнувшись, и, не переставая улыбаться, посмотрела на Габриэля, как бы заранее подсмеиваясь над тем, что он сейчас скажет.

— Как это вы меня нашли?

— Я слышу, ваша собака воет и скребется в дверь, а я как раз шла доить (ваше счастье — у Дэзи уже кончается молоко, и, может быть, это последние дни, что я хожу сюда). Как только она увидела меня, она бросилась ко мне и ухватила меня за подол. Я пошла за ней и первым делом посмотрела, не закрыты ли отдушины в хижине. У моего дяди точно такая же хижина, и я слышала, как он предупреждал своего пастуха не ложиться спать, не проверив отдушины, и всегда оставлять одну открытой. Я открыла дверь, вижу — вы лежите, как мертвый. Я побрызгала на вас молоком, потому что воды не было, мне даже в голову не пришло, что молоко теплое и никакого от него толку нет!

— А может быть, я так бы и умер, если бы не вы! — чуть слышно произнес Габриэль, словно обращаясь к самому себе, а не к ней.

— Ну нет! — возразила девушка. Она явно предпочитала менее трагический исход. После того как спасешь человека от смерти, невольно разговор с ним

приходится поддерживать на высоте такого героического поступка — а ей этого совсем не хотелось.

— Я так думаю, что вы спасли мне жизнь, мисс... не знаю, как вас звать... Имя вашей тетушки мне известно, а ваше нет.

— А я не скажу, как меня зовут, — не скажу. Да оно, пожалуй, и ни к чему, вряд ли вам придется иметь когда-нибудь со мной дело.

— А мне бы все-таки хотелось узнать.

— Можете спросить у моей тетушки, она вам скажет.

— Меня зовут Габриэль Оук.

— А меня по-другому. Вы, видно, очень довольны своим именем, что так охотно называете себя — Габриэль Оук.

— Так видите ли, оно у меня одно на всю жизнь, и как-никак приходится им пользоваться.

— А мне мое имя не нравится, оно кажется мне каким-то чудным.

— Я думаю, вам недолго сменить его на другое.

— Упаси боже! А вы, верно, любите делать разные предположения о незнакомых вам людях, Габриэль Оук?

— Простите, мисс, если я что не так сказал, а я-то думал вам угодить. Да где же мне с вами тягаться, я не могу так складно свои мысли словами передать. У меня к этому никогда способности не было. А все-таки я благодарю вас от души. Позвольте пожать вашу руку.

Сбитая с толку этой старомодной учтивостью и серьезностью, какую Оук придал их шутливому разговору, она секунду поколебалась.

— Хорошо, — помолчав, сказала она и, поджав губы, с видом неприступной скромницы протянула ему руку. Он подержал ее в своей одно мгновение и, боясь обнаружить свои чувства, едва прикоснулся к ее пальцам с нерешительностью робкого человека.

— Как жаль, — вырвалось у него тут же.
— О чем это вы жалеете?
— Что я так скоро выпустил вашу руку.
— Можете получить ее еще раз, если вам так хочется. Вот она. — И она снова протянула ему руку.

На этот раз Оук держал ее дольше, сказать правду, даже удивительно долго.

— Какая мягкая, — сказал он, — а ведь сейчас зима, и не потрескалась, не загрубела!

— Ну теперь, пожалуй, довольно, — заявила она, но не отдернула руки. — Мне кажется, вам хочется поцеловать ее? Пожалуйста, целуйте, если хотите.

— У меня этого и в мыслях не было, — простодушно отвечал Габриэль. — Но я очень...

— Нет, этого не будет! — Она вырвала руку.

Габриэль почувствовал, что он опять оплошал.

— А ну узнайте, как меня зовут, — задорно крикнула она и исчезла.



ГЛАВА 4

Габриэль решается.
Визит. Ошибка

Единственный вид превосходства в женщине, с которым способен мириться соперничающий пол, — это превосходство, не заявляющее о себе; но иногда превосходство, которое дает себя чувствовать, может нравиться покоренному мужчине, если оно сулит ему надежды завладеть им.

Эта хорошенькая бойкая девушка скоро совсем пленила ум и сердце молодого фермера. Ведь любовь — чрезвычайно жестокий ростовщик (расчет на